

лениях, в исходных предметах интереса, внимания, беспокойства и т. п.

Рост и ветвление смыслов, извлекаемых из образа вещи-первосвета, продолжается и после того, как она впервые стала предметом автобиографической рефлексии. Если в жизни рефлексирующего над первым и последним человека происходит поворот, то меняется и истолкование первоветви памяти: в них открываются новые смысловые горизонты. Многократное возвращение к первоветви, ее переинтерпретация, извлечение новых смыслов показывает, что вещь-первосвет переживается нами как хранительница неисчерпаемой тайны простого.

Поэтика потерь: к антропологии вещи

Большая вещь — сама себе приют.
О. С.

У вещей есть два модуса существования — присутствие и отсутствие, причём последнее не менее, а иногда и более сильно, чем первое. Иные предметы голосят, вопиют своим отсутствием, его незаменимостью-ничем-другим. Иным — вообще надо исчезнуть, утратиться, чтобы стать по-настоящему, в полной мере самими собой. Их присутствие — только подготовка к будущему отсутствию, его вызревание, накопление. Утрата — задание и человеку, и предмету.

Белые и чёрные клавиши бытия — присутствие и отсутствие.

Расхожее и защитное представление о том, что-де «ни о чём» — а уж тем более об утраченных вещах — «не надо» жалеть, — не только неправда, но и как-то нечестно по отношению к вещам, верным терпеливым спутникам. В них скапливается жизнь. В любых, в мелких тоже, и по количеству её там ничуть не меньше, чем в крупных: жизни нет дела до размера вместилища, она везде умещается. Её-то и жаль.

Всякая вещь ведь о чём-то, поверх своего утилитарного назначения. Так один кувшин для холодной кипячёной воды, долго-долго живший в доме и погибший под сдуру ливанутым туда крутым кипятком, всем своим округлым простодушием был — о молодом сентябре как состоянии мира, о моих ранних 80-х, о прохладном восходе жизни — и тем самым, уже одним этим, ощутило эту жизнь выпрямлял. Его давно уже нет, а место, где он стоял, всё ещё тихо-тихо, едва слышно, но неустранимо звучит на той же ноте, которую он создавал своим присутствием.

Ведь не только каждый человек другому — урок (это-то давно известно), но и вещи приходят, чтобы нас чему-то научить. Даже если это что-то — «всего лишь» солнечность существования.

Потери остро затачивают нас, как карандаши (чтобы тонкую линию, значит, проводили по лицу мироздания, а не

жирные неряшливые штрихи). Срезают — ну не то что лишнее (далеко не факт; скорее уж напротив — скорее то, у чего было своё трудноотменяемое место в жизни, иначе не будет ни больно, ни чувствительно — иначе какая же это потеря?), — они срезают то, что может быть срезано. И остаётся то, что, предположительно, — не то что неуничтожимо (уничтожимо, есть основания подозревать, всё), но уничтожимо гораздо меньше. Ядро.

Вещь — формирующий стимул жизни, терпеливый и незаметный прокладыватель её русел — тех самых, по которым жизнь течёт каждый день, приобретая формы, намывая содержания. Вещь — соучастник и собеседник, «плоскость» для проецирования себя — экран и зеркало для человека.

Мы с ними — не в отношениях владения, но в отношениях взаимообуславливания. Наш диалог (почти) равноправен, более равноправен, чем принято это замечать. Вещи и сами владеют нами, потому что хоть в какой-то мере да определяют нас, диктуют или хоть подсказывают, какими нам быть. И чувствуется даже, будто им стоит довериться — во всяком случае, некоторым вещам — точно стоит: безусловно, есть вещи, которые — хоть в чём-то — мудрее нас.

Время превращается в вещи, загустевает и оплотневает в них. Вещи — это всего-навсего возможность пощупать время руками. Разрушаясь, они растворяются во времени снова. Временем они пропитываются автоматически, даже если ничего с ними не делать, а просто держать их где-нибудь на складе взаперти и без всякого употребления (так поражают — огромными объёмами непрожитого, пустого, слепого времени: заглотнули некогда его воздух жадно, в запас — и не могут выдохнуть, — совершенно новые вещи, застигнутые лавой и пеплом в Помпеях и ископанные спустя столетия: ряды одинаковых, не успевших пожить глиняных горшков, мисок, плошек, ваз, амфор...). Зато вот долгое употребление полирует вещь, «настраивает» её, ставит звучание ей, вначале дико и безадресно голосащей. Очень любопытны вещи с длительным опытом активной принадлежности, прирученности, с живой памятью множества касаний рук, хоть бы и совершенно бездумных: здесь никакая дума не нужна, здесь важен сам факт употребления. Не только с изготовившего её конвейера, но

даже из штучно и с любовью создавших её рук вещь выходит лишь заготовкой самой себя, пустой болванкой, на которую затем будут (взаимопритыгивающимися) слоями записываться время и пространство.

Вообще, человечество должно бы однажды изобрести род проигрывателя, считывающего устройства, которое «эксплицировало» бы накопленные вещью за время существования смысловые шумы. Мыслимо даже такое искусство: обработка этих считанных шумов, выстраивание их в эстетически значимые последовательности.

И если уж вещи — координаты человека в бытии (позволяющие ему, значит, нащупать и закрепить самого себя), то, утратив прежние, человек должен — имеет перед собой задачу — вписывать себя в новые координаты. Заново выстраивать сетку.

Но след этих координат, сделанная ими прежняя разметка, внутренняя карта остаётся в человеке навсегда. На месте утраченного непременно остаётся хоть какое-то количество фантомной боли. И та вращается в форму существования человека, как некогда вращал в неё присутствующий предмет.

С утраченными вещами ещё при жизни их владельца происходит то, что в любом случае ждало бы их потом, после его смерти, — они теряют своё оправдание, из них вынимается смысловой стержень, их скрепляющий, и они рассыпаются, как тело без души (человек-владелец выполняет роль души по отношению к своим предметам). И вот тут-то начинается их посмертная жизнь, в памяти и самочувствии бывшего обладателя: тут они — в качестве собственных образов — все вместе, в осмысленной цельности.

Имея сильные сомнения в посмертном существовании людей, вижу как ясный факт посмертное существование вещей. Они остаются как — изменённая ими — форма той жизни, в которой присутствовали, как след солнечного пятна под закрытыми веками, как отгиск печати. Оставляют за собой устойчивую совокупность связей, инерций, особенностей тела, эмоциональных движений, привычек своего обладателя, задают телесную (в пределе — экзистенциальную) оптику и пластику, которая продолжается и долго, долго после них. (А что, люди разве не так?)

Есть вещи горячие, жгучие. Покидая жизнь, в которой присутствовали, которую своим присутствием поддерживали и наращивали, они оставляют по себе дыры с оплавленными краями. Со степенью их новизны или обжитости это прямо не связано, хотя, впрочем, совсем без связи тоже не обходится.

Новых вещей, если те вдруг обретают статус утраченных, жаль куда меньше: у них нет истории. Они — только возможность собственного будущего смысла, который не успел состояться, только ключики к возможным дверям, о которых неизвестно даже, существуют ли они; только основа для будущих наработок. Они ещё дремлют основной своей частью в небытии. (С другой стороны, как не пожалеть о набухшем, «круто налившемся» бытии, которое так и не смогло развернуться, даже если оно не «своё», как те помпейские амфоры?) А вот старых вещей, вещей с историей, памятью и отчётливым смыслом — жаль безусловно и остро.

(Надо ли повторять, что вещи оберегают нас от небытия? Они — стражи на границах между ними и Им. Потеря — прореха в границе.)

В некотором глубоком смысле все утраты — родня друг другу. И боль от конца некоторого этапа жизни, и боль от утраты ясного рыжего кувшина, привычной ручки или старых удобных кроссовок — это одна и та же боль (разве что входит в разных точках), и говорит она об одном.

Об уязвимости и драгоценности человеческого — всего, о его одушевлённости и невозвратимости — и о возможности, возможностях жить без утраченного. О возможностях жить. О чём же ещё.

Потеря (особенно — большая) — урок не только смерти (репетиция — очередная — расставания, вплоть до расставания с телом: ушедшие вещи — тоже часть тела, да ещё и формирующие его принципы), но и жизни: она позволяет увидеть (и обрадоваться!), как много у тебя, оказывается, осталось. Обеднение подчёркивает твоё богатство, фокусирует внутреннее зрение на нём. Лучше потерь этого ничто не умеет делать: всё остальное гораздо менее эффективно уже хотя бы потому, что потеря — сильнее и принудительнее.

Вещи надо отпускать, уметь отпускать — и с благодарностью, точно как людей. Вещи устают, им хочется в небытие.

Другая вещь, пусть в том же статусе, поведёт нас по другому руслу.

Потери — точки роста (даже — зоны его: совокупности точек). Так и хочется вернуться в своё обжитое, точно подогнанное предметное (почти уже не-предметное) тело, принять привычную до естественности форму. А вот фиг тебе. Расти.

Каждая потеря — акт взросления и рождения. Рождение без боли — не настоящее, как и взросление без травм и утрат. Всякая потеря заново производит нас на свет: выталкивает из тёплого лона сложившейся и обжитой ситуации в холод и ветер мира, из прежнего дома — в новое бездомье. Всякая потеря — инициация: в новое, пост-утратное состояние. В состояние с «хоть на миг, а иным» модусом и тонусом.

В этом смысле жизнь, конечно, — (почти) непрерывное рождение.

Кстати, приобретения и утраты тоже не должно бы, по идее, друг от друга «отличать», как применительно к победам и поражениям рекомендовал себе и нам Борис Леонидович: и в том, и в другом случае — меняющем количество и конфигурацию образующих жизнь единиц — приходится собирать себя заново.

Среди ходов, которые прорывает в нас будущая старость, явно есть и перестраивание отношений с вещами.

В детстве, особенно раннем — и это до сих пор очень ясно помнится, — предметы и их детали воспринимались отчётливо-выпукло, самоценно, завораживали. Предмет с его фактурой, подробностями, шершавинками и выщербинками на нём был самостоятельной речью бытия, не нуждающейся в словесном пересказе. Едва ли не в каждый предмет можно было вглядываться долго-долго, как в огонь или в воду (ведь не было же ещё разделения вещей на живое и неживое, на искусственное и естественное: всё было и живым, и естественным, и таинственным), уходить взглядом в его перспективу. (Одним из таких чувственных воплощений осмысленной — просто непересказуемой, не нуждающейся в пересказе — бесконечности была, например, большая коробка с пуговицами. Каждая из её обитательниц была чётким высказыванием, даже повествованием; со своей интонацией, со своим отношением к миру. Кстати, они *все* живы. Просто коробка у них другая. Должно быть, пересмотреть их однажды будет событием,

сопоставимым с перечитыванием очень значимой в детстве книги или даже с возвращением в места, в которых много чего пережито.)

Юность, молодость, да, пожалуй что, и зрелость мыслят и чувствуют размашисто, охалками. Детали проскакивают мимо. С будущей старостью к нам подступает внутренняя тишина (кстати, бывает ведь и *тишина взгляда*) — и в ней всё лучше слышны отдельные предметы. Исступающие из своих (всегда в конечном счёте условных) связей, они снова подходят к нам вплотную.

Внимание снова подолгу медлит на деталях, впитывает их в себя. В этом есть что-то от дрожания над ними, ускользающими, обречёнными, от будущего прощания с ними.

Впрочем, чем ближе к старости — чем глубже в старость! — тем меньше значения в вещах. Тем осязаемее они — до краёв, через край переполненные в детстве бытием — опустошаются, что всё яснее и яснее: ни одна из них, даже самая замечательная, ни даже все они вместе не удержат нас от смерти. Вещи не держат в мире! ничто не держит! — вот ступор молодой, начинающей, едва осваивающей себя старости, вот её ведущий когнитивный, прости Господи, диссонанс. Вначале этому поражаешься, не хочешь и не можешь верить, как предательству.

Старость — это начавшееся опустошение вещей: совершенно независимое от того, что в процессе нашей общей с ними жизни они насыщаются, даже перенасыщаются памятью, становятся средствами записи прожитого, которые не хочешь — а перечитываешь, они сами перечитываются. Это параллельные процессы, не мешающие друг другу и не отменяющие друг друга. Так вот: с погружением в старость вещи, сплошь исписанные, от нас отделяются. Мы с ними отправляемся в разные плаванья.

Фальшивка

Я умею рисовать фальшивых
Пикассо не хуже других.

П. Пикассо

Производное от латинского *falsum*, слово «фальшивка» означает *ложную вещь*. Сам же феномен фальсификации отсылает нас к сложному мироустройству вещей, свойств и отношений, поскольку ложь сама по себе — чрезвычайно сложный и многообразный феномен.

В совокупности ложного мы различаем ложные идеи («идолы»), ложные образы (иллюзии, химеры), ложные имена (псевдонимы), фиктивные лица (маски), фальшивые чувства (лицемерие), ложные связи и отношения (ошибки, обман, заблуждение). «Даже слегка поразмыслив, мы видим, что все, что мы так решительно и “массированно” называем “ложным”, заключает в себе своеобразное сущностное богатство»¹.

Исследование этого богатства и своеобразия — обширная тема, ибо речь идет о целом классе явлений, образующих, ни много ни мало, фальшивую сторону *действительности*. Приступая к ее исследованию, можно проделать известный ход, начав с *подручного*. А подручным, как известно, для нас являются вещи.

Фальшивка — непростая вещь. Именно ложность придает ей необходимую сложность. Отсылая к другой вещи и не будучи ею самой, *выставляя* себя за нее и, тем самым, *заставляя* и *закрывая* ее, фальшивка умножает сущность вещи. Выступая на передний план, она экранирует подлинную вещь, создавая *место* для присутствия лжи как модальности сокрытия. Откровенная простота вещи затмевается, экранируется и отклоняется искусственным «блеском» фальшивки. Вместе с тем тот истинный проблеск сущего, которым отсвечивает ложная вещь, сообщает ей силу и особый онтологический статус. Она — мультипликатор реальности. Благодаря

¹ Хайдеггер М. Парменид / пер. с нем. А. П. Шурбелева. СПб. : Владимир Даль, 2009. С. 83.